

# Отечество

*Отечество нам Царское Село.  
А. С. Пушкин*

Едва ли мы отыщем то село:  
Все лицеисты пущены в расход,  
Обломки лиры снегом занесло,  
Отчалил философский пароход  
И растворился в дымке голубой,  
Ну а народ — о чем ты, Бог с тобой.

Изъяты книги из библиотек  
И сожжены, и вылинял, поблек  
Всяк сущий в нем язык, и вот уж век  
России нет. Но гиблые места,  
Но мачты лучевидные стропил  
Без плотников, церквушка без креста,  
В грязи — из веток ивовых настил  
И синяя оленья немота  
Весны, зимой — течение светил  
Над мерзлотой, над вечной мерзлотой...

И все пресуществляются в Дары:  
Вино и хлеб и игры детворы.  
России нет. Но дискос золотой,  
Но Чаша, свет, струящийся в ночи,  
Его прямоходящие лучи...

Занявшийся сиянием пережной,  
Себя я в этой бездне разместил,  
Идя сквозь виноградник Твой больной  
И видя сны, где снег со дна могил  
Еще блестит под северной луной.

## Варсонофьевский переулок, 7/9

— А ну вставай, соколики, пора!  
На пять минут — работы в гараже,  
И вот уже вывозят со двора  
В грузовике лежащих неглиже  
Соколиков. И мажется икра  
На масло, крем-брюле и бланманже  
Тебе приносят к чаю, кобура.

Июнь. И рио-рита из окна  
Тем громче, чем от гари тяжелей:  
Висит, мешаясь с пухом тополей,  
Она по всей столице, эта гарь.  
Но рассуди, дрожащая ты тварь,  
Какой в том прок? Гребущим всех подряд  
До лампочки, горят ли, не горят  
В буржуйке бумаженции твои.  
Подпишешь все, как миленький, а там  
Удобрить сам культурные слои,  
Свезут ли на Донской к истопникам  
Тебя, мой друг, в Нарыме ли каком  
Потрудишься и сам истопником.

Не дремлет враг. И хрупок, неглубок,  
Не разберу, от водки ли мой сон,  
От ремесла ли нашего, милок.  
Льешь литрами, считай, одеколон,  
А все корит, все дуется жена,  
Мол, пахнешь кровью, как с тобою спать,  
Как жить с тобою? Знать, повреждена  
Умом-то, голубица, но — как знать...

Прям, леди Макбет. Впрочем, не про то,  
Осужденный, хотел тебе сказать.  
Сочится кровохлебкой решето,  
Отцеживая нас — и вас, и нас:  
И я, и ты, и этот конь в пальто —  
Под Богом ходим, да-с... Не ровен час,  
Подкатят и за мной, впихнут в авто,  
И Ваньку не валяй — за что, за что —  
Наймит, гаденыш, падла, пидорас!

А враг — он бдит. Повсюду он внедрен —  
Он в каждом, враг! И хлещет кровоток.  
...Шекспир сказал: распалась связь времен.  
И не связать концов ее, браток.

# Васильев

А кровь, как ни бели ее с утра,  
Сквозь известь, чем прозрачней, тем видней  
Подследственным: тому — на севера,  
Ну а тебе — тебе в страну теней,  
Не к волчьим изумрудам, сибиряк,  
Есенинской листвы ненужный ком.  
Стребли тебя — забудь о северах:  
Подвал и крематорий на Донском.

На раз-два-три хребты ломают здесь,  
Окурки гасят в яблоках глазных.  
Какие снегири? Ты вышел весь,  
С крючка из мозга вырванной блесны  
Весь вытек на рубаху в петухах.  
Промчались грезы, гаснут колера,  
И ты, как все, не медом здесь пропах.  
— Охрана! Выносите гусяра.

Роняет лепестки югорский мак,  
Со шконки слепошарый богомол  
Во мрак вперяясь, тянешься во мрак  
Седой, как лунь, скуластый, как монгол,  
И там, во тьме, не кум, не фраера —  
Спит теремок, ни низок, ни высок,  
И золотарник золотом истек,  
Блестит жемчужный хрящик осетра,  
Не тюрьмы там, а юрты, солнцепек,  
Там снег на полушалок твой, сестра,  
Летит, напоминая Вифлеем,  
И только карандашик послуни,  
Текут стихи — последние огни  
Вдоль пристани, но кто мы и зачем?

С овцы паршивой шерсти рыжий клочок  
И тот не нужен им. Жирует хам,  
А наш, дружок, окончен файв-о-клок,  
И переоборудованный храм,  
Дымит, словно мартеновская печь,  
И всюду напоказ отцовский срам,  
И не костями, но пеплом нам полечь —  
Там, на Донском, орел степной, сиречь  
Казак, биологический отброс,  
Бряцающий на лире друг степей,  
Орлов, парящих по небу вразброс,  
И недруг — сапогов и портупей.

Обол Харону — сталинский пятак —  
Паромщику косматому обол,  
А то, глядишь, посмотрит и за так  
Перевезет: ведь гол ты как сокол,  
Сам бывший плотогоном как-никак.

Под звездным частоколом санный путь  
И, как нигде, огромная луна,  
И женщина: Елена ли она,  
Наталья ли? И звезды, словно ртуть,  
Текут по чуду в перьях, и полна  
Жар-птиц, чьи позабылись имена,  
Коробочка твоя, югорский мак,  
И, по ветру развеянный подзол,  
Плывешь, таращась бельмами, во мрак,  
И ад, поди, не горшее из зол.

Лубянку, невостребованный прах  
Припомни. И как там, на северах,  
Как в Салехарде\*, мглистый оком  
Займется беглым пристытым огнем.

## Дорога на Старый Надым

Что ты забыл здесь? Пей томатный сок,  
Иди сторонкой, дождь, идущий вкось.  
Все сгнули. Лишь лиственницы скрип  
Над быстринной, с обрыва. Или ось  
Скрипит земная? Что это за тип  
Там шастает? Олень, должно быть, лось?

Осетр и банка с паюсной икрой —  
Зачем тебе художества сии  
В столовой раскуроченной? На кой  
Нам ворошить культурные слои,  
С печурок этих снег сбивать клюкой,  
Скворечник на поехавших столбах  
Разглядывать, вздыхая день-деньской?  
Все рухнуло. И мусор на столах.

Мосты и рельсы — что тебе до них,  
Висящих сикось-накось на соплях  
Незнамо где, как регулярный стих,  
Как чей, уже не помню, млечный шлях?

И тот чертог Твой, Спасе, Твой ковчег —  
В нем нары на крови, на нарах снег,  
Сквозь рванный свод сочится мерзлота

---

*\* Примечание: Салехард — последняя командировка Павла Васильева, и именно там, в лагерях Заполярья, он мечтал окончить свои дни, сидя во внутренней тюрьме на Лубянке и глядя сквозь решетку на снег и снежиры: «Снежиры взлетают, красногруды. / Скорю, скоро на беду мою / Я увижу волчьи изумруды / В нелюдимом северном краю». Не пришлось. На волю передавали, что видели двадцатисемилетнего поэта, самого могучего из русских поэтов того времени, совсем седым, с выжженным папирисой следователя глазом и сломанным позвоночником, так что, по-видимому, в расстрельный подвал его пришлось тащить волоком. Сожжен в приспособленном под крематорий для «врагов народа» храме преподобного Серафима Саровского на территории нового кладбища Донского монастыря, пепел ссыпан в могилу невостребованных прахов.*

И кверху дном несет Генисарет  
Лодчонку, чья коробочка пуста.

Вот мертвый, весь в телегах, Вифлеем,  
И кто-то под огнем, и глух и нем,  
Ест голову свою. И слеп, как крот,  
Молчит Гомер. И крутится фокстрот  
По всей Москве, не верящей слезам,  
И мед, мешаясь с кровью, по усам  
В нарядное, с иголки метро,  
Что щерится в потемках, как сезам,  
Течет, и всюду липко и мокро,  
Мочала на колу и там и сям  
Плывут по всем излучинам, осям,  
Сквозь требуху сияет рыбий жир,  
По перекресткам катится инжир  
Со свившегося неба — скок-поскок! —  
И пуля-дура, если не в висок,  
Летит тебе в затылок, пассажир.

Что ты забыл здесь, призванный на пир,  
И чем твоя коробочка полна?  
Здесь лишь пустошь ягельного сна,  
Здесь шпалы облаками затекли  
И нет границы неба и земли  
И из пустого все не перельет  
В порожнее курящегося льна  
Страна забвенья, призраков страна,  
И нескончаем птичий перелет.

Здесь тот, кого воздушный лабиринт  
Втянул сквозь снег, слоющийся, как бинт,  
В полуночной стране сошедших в ров  
Не Бога видит в небе, а барак,  
Замерзшие могильники костров,  
Кукушкин лен, растущий абы как,  
И вечной тундры жиденский покров.

Зачем ты здесь? Лишь доски-горбыли,  
Ивняк, белея, зиждется впотьмах,  
Заносит снег кобыльи корабли,  
Выживая нас из мерзлых ям,  
И шпалы облаками затекли,  
Оставив на помин лицейский ямб.

Но что нам эти косы, тот цветок  
И тучки те жемчужные, старик?  
Сознания угасающий поток  
Сковало льдом. Уже не только вскрик —  
И всхлип немислим. Канул в краснотал,  
По льду растекшись кровью, тот квартал,  
И только пустошь ягельного сна,  
Страна забвенья, призраков страна.

Спит переименованный в Надым  
Элизиум. Полярная луна,  
Сова ли коченеет по-над ним,  
Прожектора ли выявился зрак  
Бельмом в ночи — не все ли нам равно?  
И снег ли там скрипит, веретено  
За нитью за нить сучит себе во мрак —  
Не все ль равно? Пьет масло фитилек  
Лампадки, как сосет, синея, лед  
Арктический заморыш-василек,  
И бесконечен птичий перелет  
Над прорвою былъем заросших ям,  
Где, как в потире хлеб Святых Даров,  
Мы, верно, пропитались будь здоров  
Сияньем, что течет по всем осям.

## Овер-Сюр-Уаз

*Ван Гог — брату*

Не Иов — куда там! — а с содранной кожей  
сатир со злосчастной свистулькой своею —  
косматый, на сбор винограда похожий,  
на голую церковь, что стынет, синея,  
как будто растянута шкура на кольях  
кургузым сугробом. И верно: ну, кто я,  
чтоб с солнцем тягаться, тем более в Арле?

Горит виноградник, сочатся сквозь марлю  
его заскорузлые вены цепные,  
и сны, до потери сознания цветные,  
плывут в голубые, как лен, палестины,  
и то в ней узлы виноватой маслины  
с листвою заполошной в преддверье расправы,  
то дома свиданий фонарик кровавый.

Сшибаются лбами шары в бильярдной,  
бульваров огни-удилища в нарядной  
столице сплетаются в неводы-сети,  
ведя тебя в нети. И что там за нети?

Скользит, пузырясь, по кустарным орбитам,  
оплавленным дочерна метеоритом,  
мой сад-вертоград под сибирским треухом  
с подправленным бритвой, замотанным ухом,  
с лицом психопата, что ни говори там,  
и можно чердак залатать селянину,  
курятник заткнуть ли, загон под скотину  
искусством твоим. Но каким мастихином  
сдерешь эти скулы, бутылку абсента  
и луковый суп, и морозы адвента?

Так узник, свои забывая колодки,  
корпит, трубокур, и то горе-подметки  
малюет, то шлюх, то крестьянские кринки,  
лучи половиц, никому на арт-рынке  
и даром не нужен, но все по старинке  
мазюкает что-то от ходки до ходки.

Он в рыжем затылке того, кто по кругу  
гоним на прогулку, острижен, поруган,  
вдруг видит подсолнух, и вот уже соткан  
из золота зной в синеве непролазной,  
белей ледников в нем покоятся лодки,  
свистит, грохоча, паровоз над Узой,  
пускает клубы в небеса, и, как дети,  
зажгли керосин в перекошенной клетке  
твои углекопы в картофельном свете.

Кому это нужно? В бистро колченогом  
какой посетитель не ржет над Ван Гогом,  
месившим палитры как грязь по дорогам?  
Не курам ли на смех все пажити эти?  
Не пастырь — изгой, я на адовом днище  
ходячим стою у плетня кровотоком,  
и в буркалах темень, и хлещет кровища,  
а слава посмертная — много ль в ней проку?

Глазунья декабрьских судов на приколе,  
возок без коня под дождем среди поля,  
поднимешь глаза — разбегаются рельсы  
созвездий. И чьих отправлений свистки там?  
Твое, пассажир. С расписанием сверься,  
спасибо скажи своим чеботам сбитым,  
и разве так важно, всплакнет ли блудница,  
кого поминают молочные вишни,  
слегка розовея в минутном затишье  
предвесьем весны по предместьям столицы?

Так в юноше теплятся слабые вирши,  
святой дурачок проповедует птицам,  
так в спящие тюрьмы, казармы, больницы  
приходят — быть может, ниспосланы свыше —  
любовницы, жены и прочие лица.

Душевнобольные так грезят о рае  
в саду монастырского желтого дома,  
и, кажется, лишь удали глаукому —  
вернешься в Эдем, по частям собирая  
сознание, и все там как будто знакомо,  
но сквер твой, художник, дотла выгорая,  
вперяется в ночь, и плывет над селеньем  
дымок как из трубки — вот этой, последней.

И, крыты соломой, кривятся сараи,  
овины, и солнца жрецы золотые  
как просто жнецы надо мною проходят,  
и их силуэты клубятся и стыннут  
полуночной лавой в полуденном поле.

Но что прозябало там, зрело подспудно,  
чтоб вспыхнуть безумием в полном объеме?  
Вот пугал кресты, вот больничное судно,  
полярного солнца в льняном окоеме,  
как тыква Ионы, как куст мой горушный,  
увязло в зиме своей глубже, чем в коме.

Стоишь, протекая, сидишь ли, разрушен,  
как Иов на гноище, на пепелище,  
но вроде зерна он, свинец этой пули.  
Горчичным зерном или, скажем, пшеничным,  
мы в том и пребудем, на что мы дерзнули,  
не правда ли, Тео? Скитаемся, ищем  
неведомо что и не знаем, нашли ли...

Тазы под гробами, жарница, а пыли,  
а сколько б, ты видел, ворон здесь в апреле!

Личинка, былинка Иезекииля,  
он праведник был, бедный Иов, и мне ли,  
паршу соскребая, речами без смысла  
Создателю уши терзать, в самом деле?  
Виси же, холстина, виси, как повисла:  
пока мы глаза в Судный день не разули,  
пусть дождь барабанит, и вьюга в разгуле  
ярится и вое, и стальные прутья  
текут на рассвете лучащейся ртутью.

Лачуги, церквушка над козьей тропею,  
и вот уже сам не большак, но тропа я,  
и пусть не оленья тропа к водоюю,  
но все же, покойник, плетусь, шкардыбаю,  
ползу рудокопом-кротом по забою,  
и пашня светил — над дорогой люблюю,  
и кровушкой черной постскриптум кропая,  
китайскую тушь уношу я с собою,  
а те башмаки я тебе уступаю.

